

Александр Левитов

# Бабушка Маслиха



Александр Иванович Левитов

## Бабушка Маслиха

«Ни разу не слышал я, чтобы кто-нибудь пел так хорошо, как певала в старину бабушка Маслиха. И хлеба тоже во всем нашем городке ни одна торговка лучше ее не пекла.

Бывало, спит еще маленький городок, на далеком востоке небесном только чуть-чуть показались золотистые тонкие лучи, предвещающие появление солнца; прохладные, далеко гонящие дремоту утренние туманы носятся над сонными улицами какими-то грозно одушевленными снопами; по самым улицам ленивою и неслышною поступью тянется нескончаемый обоз с камышинскою солью...»

# Содержание

I.....	.0005
II.....	.0011
III.....	.0020

**Александр Иванович Левитов**  
**Бабушка Маслиха[1]**

Ни разу не слышал я, чтобы кто-нибудь пел так хорошо, как певала в старину бабушка Маслиха. И хлеба тоже во всем нашем городке ни одна торговка лучше ее не пекла.

Бывало, спит еще маленький городок, на далеком востоке небесном только чуть-чуть показались золотистые тонкие лучи, предвещающие появление солнца; прохладные, далеко гонящие дремоту утренние туманы носятся над сонными улицами какими-то грозно одушевленными снопами; по самым улицам ленивою и неслышною поступью тянется нескончаемый обоз с камышинскою солью, с саратовской золотою пшеницей, и во всей этой мертво спавшей, но мирившей со всякой мирской злобою жизни, ей-богу! нельзя было разобрать, кому слаще спится, кому добрей грезится: чумакам ли из-под Пирятина, что идут около своих тучных волов, глухо пошаркивая далеко пахнувшими дегтем сапожищами, или самим волам. Склонивши глазастые и рогатые головы на старинную деревянную запряжку, шагают быки и будто думают, —

будто они думают о чем-то таком важном, что вот против их воли приподнимает к рассветяющему небу их тяжелые, опущенные к росистой земле головы – и во все их звонко щемящие горла дружным хором заставит вскрикнуть: «Ой вы, чумаки-чумачищи пирятинские! Не пора ли вам, чумачищи пирятинские, нас, быков черноморских, из тяжелой упряжи выпрячь?.. Ой, не мы ли с вами, быки черноморские, всю нашу степь летними господними ночами тихим походом прошли? Видели мы вместе с вами в те темные ночи, как в степи дальние села ярким пожаром горели, слышали, как поперед нашего обоза в глухую полночь громкий крик человеческий, что из-под светлого лиходейского ножа вылетал, дюже разрезывал, – с вами вместе, усастые чумачищи, мы жаркими днями были жаждой палимы, а страшными ночами – бескормицей, – распрягайте же нас, чумаки, поскорее и давайте нам отдых...»

Но сладкая заревая дремота не давала выкрикаться этой бычачьей думе, следовательно, в ничем не нарушаемой тишине спящего городка еще звонче, чем в тревожное время

жаркого полдня, раздавалось пение бабушки Маслихи, которая, несмотря на раннее утро, уже везла на базарную площадь полную тележку с хлебом, с пареными грушами, вареными печенками и прочим снадобьем, до какого такие охотники эти чумаки, распрягающие наконец на той же площади своих усталых волов.

С каждым днем все пуще и пуще забывает степь свои старинные песни и сказки. Ныне разве только в светлой хоромине старообрядца можно услышать те псалмы, которыми некогда Маслиха будила наш город. Ее внучка даже, вышедшая замуж за городского попа, поет уже большею частию совсем не то, что некогда певала она на базарной площади с своей бабкой. Ее сыновья-семинаристы с каждой побывкой домой привозят ей из губернии всё новые книги, из которых сам поп выбирает самые лучшие стихи, и тогда поповский залик, весь заставленный пахучими степными цветами, с мастерски написанными образами и картинами хозяйской работы, развешанными по ярко выбеленным стенам, тогда, говорю, этот залик оглашается грустным звоном

старинных гуслей и дружным хором семьи, который сходился слушать весь город.

Да! совсем другое ныне поется в степи. Поповская семья поет ныне Некрасова и Кольцова, приводит в неизъяснимый восторг своих уличных слушателей церковными молитвами Львова и Бортнянского[2], а тогда, когда жила бабушка Маслиха, ничего такого мы – степняки – одним ухом даже не слыхивали.

Были, конечно, и в те времена люди, которые ни свет ни заря выползали из кабаков и горланили, приложив руку к покрасневшей щеке, что вот-де *«был я, мальчик, на почтовом дворе»*, точно так же, как и в поповское время есть ухащи, какие до беспамятства одуряются завезенною московским молодцом песней, рассказывающей про то, как этот дурачина, всю жизнь свою процветавший в лавке под хозяйским безменом, был будто бы одним вечером в *маскараде*. Поистине: ничего нет во всем мире безобразнее этой ленивой и исполненной какой-то невыразимой тупости песни; но тем не менее часто случалось так, что нелепые крики, выразившие, как именно шатался по *маскараду* лавочный



осел, гармоника, свист и пляска, которые обыкновенно сопровождают те крики, сполна заглушали прекрасное пение, которое разливал на темный городишко светлый поповский дом.

Большим походом идут новые новости на старую степь, с каждым годом все больше и больше наплывает на нее тех новостей. И, словно бы, сказать не соврать, новости эти мало добра с собою приносят, словно бы от них истома какая-то нападает на степных людей и болезнь... То ли оттого это, что мы к старому очень привыкли, а то и оттого, может быть, что не наши они, а надувает их на нас, как злую холеру, ветер далекий...

Знает про то один господь-батюшка. Он у нас могучей рукою своей в последние годы даже как бы изменил день и ночь, вечер и утро. Все это как-то не так ложится теперь на нашу благодатную землю, как в старину ложилось, потому что заговорили теперь степные смирные люди так, как в прежние годы им редко говорить доводилось:

– Что это ныне хлебушка-то у нас не очень, чтобы тово... – толкуют мужики. – И травы

зеленые тоже не так чтоб... Пожалуй, эдак-то будет, так скотина-то у нас дюже притомится за зиму-то...

– Да, вот он какой ныне, хлебушка-то! – вздыхал другой. – Ты про скотину помолчи лучше, потому Христос над ней завсегда. Ты про себя пораздумай, про семью. Ей будет ли что в рот положить?..

– Н-ну, торговля ныне пошла! – озлобленно восклицают мещане, сердито выпыхивая зеленый дым из коротеньких трубочек. – То есть вот до чего обголодал я с этой торговлей, что в охотники хочу наниматься[3]...

– А мне, – угрюмо договаривает другой, – ежели бы только не совесть, так хоть под дорогу с вострым ножом становиться, так в ту же пору... Погляжу вот, что еще будет, а то куда кривая не вынесет... Хуже-то, пожалуй, вряд ли и там будет...

Вот сколь сладкие разговоры заступили ныне место сладкого Маслихина пенья!

Перемерли старые люди в степи, переменялись разговоры, пошли другие и песни, так что от бабушки Маслихи я уже от последней слышал, как она начинала свой многотрудный день какою-то полупесней, полумолитвой:

*Жертву богу приношу,  
Благодати я прошу.  
Господи, помилуй создание твое!*

Скрипит по пыльной дороге ее тяжело нагруженная тележка – тащит ее бабушка Маслиха, высокая такая старуха, с крутым лбом, полузакрытым ситцевым шлыком, с сердитыми на первый взгляд, но умными чертами лица, – тащит старая торговка свою телегу и временем, невзирая на раннее и, следовательно, прохладное утро, словно бы отмахиваясь от чего то одной, то другой рукой, оттирает с желтых впалых щек трудовые, потные капли. Так плавно ходила Маслиха в своей упряжи, что, кроме этих редких отмахиваний, в ней нельзя было подметить ни одного движения,

которое бы хоть сколько-нибудь нарушало ту важность, с которой она хаживала на трудное дело честного кормления от своих собственных, как она выражалась, вдовьих рук.

Словно бы, говорю, не шла Маслиха, а плыла, и в это длинное плаванье, которое совершала она от своей избушки, как-то пугливо, совершенно по-сиротски прилепившейся на самом краю города, до рынка, она преимущественно любила петь длинную старинную псалму, начинавшуюся так:

*Ужаснися, человеце!  
И слезися своим сердцем,  
Потерял себя ты ныне  
Во гресех своих.*

Далее длинная псалма звонкогласно рассказывала длинной дороге о неизбежности скорого покаяния – пугала мертво спавший город грозным примером Сарданапала[4], погибшего в пламени своего вечно пировавшего дворца. Грохот городских разрушаемых стен, пламя, распростершееся над громадным городом, стоны сокрушаемого правосудною рукой грешного народа и яростные крики победителей так и виднелись в каждом тоне

Маслихиной псалмы, – так, как что-то видимое и одушевленное, и излетала с ее уст божия кара осужденным на погибель царю и царству...

Любопытная очень эта псалма! Мне, собственно, она и теперь представляется каким-то живым существом с мощным и гневным лицом, окруженным, как у святых, сиянием славы великой... Я передам дальнейшее содержание этой русской поэмы, созданной сразу каким-нибудь слепым певцом, насколько я еще помню его.

Ярко обозначив многообразные виды человеческих прегрешений, поэма до бесконечности осязательно начинала рисовать, что именно хранится у господя, чем он, вместе с человеческим родом, сотрет с лица земли все его мерзости. Развертывалась тогда страшная картина последнего суда – картина, видимо, сочиненная простым русским человеком, потому что воображение, пораженное ею и потом выразившее ее, решительно не видело себе никакого удержу... Здесь с объятых пламенем неба на всю сокрушаемую землю в слух всем племенам и языкам разливались труб-

ные гласы от стоющих и стокрылых ангелов, возвещавшие суд; каменные горы сходили с своих вечных оснований, сдвинутые с них всепобораяущею силой этих звуков; целые царства, пораженные ужасом, как стада робких баранов, в невообразимой суматохе бежали в леса и горы с всеобщими, достигающими до неба воплями об укрытии; а леса и горы одушевились теперь и своими от века молчавшими языками сказали им: «Не ходите к нам!.. И у нас гибель!..»

Тогда поражаемое отовсюду человечество остановилось, как бы пораженное смертью, и зверь седмиглав, по песне, имя же ему аполлион, сиречь губитель, хулясь и глумясь, устремился на него, предводительствуя миллионами многоглавых змей, дышащих серой и пламенем, и началось тогда терзание рода человеческого неописанное, и были слезы его в то время столь велики и громки, что дошли до самого господа Саваофа, грозно царившего в пламенном и разгневанном небе...

«Прейдут земля и небо, слова же мои не прейдут!» – ответил бог умолявшим стонам земли, и – кончала псалма – тогда все пре-

шло на земле, все затихло на ней, как в могиле, и воцарилась на ней непроглядная вековечная тьма!..

Чутко прислушиваются детские уши к голосам, поющим такие песни. Бывало, только что заслышит утреннюю зарей в какой-нибудь мещанской хоромине спящий ребенок, как идет Маслиха и поет, сейчас же принимается будить мать:

– Маменька! Встань-ка;пусти меня изблизи поглядеть, как бабушка Маслиха песни про Страшный суд играет...

Но мать слишком разморена домашнею суматохой прошлого вечера, и потому она, как бы приветствуя сына подзатыльником с этим так прелестно рассветающим утром, говорит ему впросонье:

– Змей! Отвяжись. Когда ты матери уснуть дашь?

И, повторяя подзатыльник на повторяемую просьбу отпустить на улицу, мать уже совсем во сне продолжает:

– А! Ты хочешь изблизи посмотреть, как Маслиха поет? Отсюда рази не слышишь, как она разливается? Ты, может, пощупать ее пес-

ни не хочешь ли?..

Бедная! В своем полусне старушечий голос Маслихи она сочла за звонкий голос работницы Марфы с соседнего постоянного двора, а слова ребенка ей показались за убедительные просьбы мужа отпустить его с супружеского ложа для того, чтобы хоть одним глазком взглянуть на нее, как эта молодая франтовитая солдатка, отгоняя в стадо хозяйских коров, поет громкую песню, подмигивает ему, городскому торговцу, мещанину Ивану Кривошапкину, и шепчет:

– Полно тебе, мещанин Иван Кривошапкин, с старой женой на мягкой постели спать! Обежал бы ты, соседушко, Иван Кривошапкин, по огородним задам во чисто поле, куда я коров гоню. Там тебе, милый сосед, я такое бы слово сказала, какое не в пример бы тебе слаще всех жениных слов показалось...

А Маслиха между тем всею, так сказать, грудью пышет:

*Звезды с неба упадают,  
Вихри по земли бушуют,  
Змеи огненны стремятся,  
На людскую злую гибель.*



*Гой! Где же спасусь  
Я, человек?..*

И тихо встает ребенок с материнской постели. Дрожа покидает он эту постель, опасаясь получить в будущем третий подзатыльник за самовольную отлучку с нее, дрожа выбегает на улицу, которую торговки пенье кажет ему всю наполненную седмиглавыми змеями, из которых торчат огненные шипящие языки, и нет ни одного самого тайного уголка на всей улице, где бы можно было укрыться от их насмерть обжигающего мученья...

– Что, миленький, вскочил уж? – спрашивает Маслиха ребенка. – Хорошо это, соколик, рано вставать, особенно мальчикам.словно ты теперь у меня какая ранняя птичка. На-ка тебе грушку пареную, съешь, золотой!

– Ты, бабушка, лучше песню играй, – отвечают ребятенки, которых собралась уже около старухи значительная кучка, – мы за тобой пойдем, слушать будем, какой он такой. Страшный суд, а груш нам не надо.

– Ну вот, может, коврижечки пеклеванной не хотите ли? Тепленькие еще коврижеч-

ки-то у меня – сласть!

– Не хотим и коврижечки, – действительно отказывались птенцы. – Играй лучше.

И, послушная ребячьим просьбам, Маслиха продолжала свою картинную песню о Страшном суде, научая маленьких ребяток ее страшными казнями бояться и убегать злого, творить вместо этого неуклонно одни только добрые дела, и мальчишки, в свою очередь, послушно шли за нею на дальний базар, где и ютились около нее до тех пор, пока их желудки не запрашивали обычного молочного кулеша из желтого пшена.

– Как это им только не надоест эта Маслиха? – удивлялись отцы и матери, встрянувшись про давно улетевших вслед за торговой ребят. – Уж на что нам дома делов много, а и то мы все песни ее наизусть выучили, а они и дома жужжат их и за ней, кроме того, аккуратно каждый день бегают.

Но не только малые ребята, а даже и многие взрослые очень веселились Маслихиными певучими походами от ее избушки к базару.

– Истинно, что не иначе, как она, – разгова-

ривали про старуху седые грамотеи-мещане, – в старинные времена святые пророки по стогам градов ходили, обличая разврат душ, за-грубелых в грехах окаянных...

– Вот так бабушка! – звонко горланили про певицу мальчуганы, посасывая подаренные ею груши и попрыгивая по-сорочьему через ножку. – Добрее родной бабки Маслиха-то у нас! Тут же мы теперича, кулешка у маменьки похлебамши, к ее внучатам на огород играть побежим.

Крикливый уездный базар относился к бабушке Маслихе не менее малых ребят и седых чтецов любовно. Отворялись ли кем-либо скрипучие двери базарного кабака, сейчас же этот кто-либо подходил к Маслихе и, находясь даже в добром подпитии, не забывал снять овчинную лохматую шапку, наклонялся к ее тележке и говорил:

– Ты мне, бабушка, тово... выбери чего-нибудь покуснее, а я уж, признаться, заложил, так вижу плохо – не разбираю. Отуманило на тощак-то и-их как! Так это, милая ты моя бабушка, от этой косушки проклятой искры у меня из глаз-то столбами, столбами!.. Круги какие-то огненные ходят, булавки бы словно какие толкутся острые, разострые... Так ты выбери, знаем уж, что у тебя без обману. На правиле все у тебя – давно об твоей чести известны.

– Какой тут обман, золотой! – ласково вступалась Маслиха за честь своей торговли. – У меня, вишь, легонькое какое я для тебя сварила, – прелести! На всем базаре кусочка друго-

го не найдешь. Али, может, ты печеночки хочешь? С сольцой тебе печеночки али так лучше излюбляешь, без сольцы? Только ты напрасно эдак-то, голубчик, испивать стал. Прежде что-то я, видючи тебя на базарах, никогда не видала тебя таким пьяным. Вить эку махину он огорошил – косушку цельную – в таких-то летах! Стыд!..

– Что ты со мной, милая бабушка, разговариваешь? – отповедывал кто-либо. – Горе у меня, бабушка, эдакое – подумать страсть! Твои бы старые глаза от такого горя и то бы слезы великие дали!

– И-и, кормилец! У молодых какое горе? У нас вот – у старых, как заноеет спина, так слезы точно что прошибают.

– Это что спина-то? Ноет она и у меня, даром что молокосос перед тобой. А ты вот погляди, где тоска-то: в груди у меня тоска-то, всего вдосталь съела, пытаму, гляди, бабка, жену у меня, слышь? отец родной оттягал. А?

– Не грехи, не грехи, родимый! Не бывает этого... Это тебе враг в глаза приставы представляет для одного греха только.

– Какой там приставы? – ожесточенно вос-

клицала овчинная шапка. – Не один он, а и управляющий тоже... пытаму она у меня красивая из себя. Я ее за красоту-то эту, может, пуще жизни люблю. И как они меня, милая бабушка, казнят за это с двух-то сторон: один на барщине, другой дома, – мучительно казнят!.. Нигде я от них спокойствия не найду...

– Молчи, молчи-ка ты, парень! Видишь, базарные ярыги нашли – смехи-то твои слушать, сынок! Ляг-ка вот ты, милый, под тележку в тень, проспись. Может, снимет с тебя господь наважденье бесовское.

И затем Маслиха насильно укладывала несчастного парня головой под телегу – мыла ту голову, словно сынину, холодной водой, а собравшемуся народу, охотнику *прислушаться и засвидетельствовать* судное дело, говорила:

– Захмелел парень-то! На жену с управляющим ториться принялся. Смехи рассказывал. Насилу уложила, – с отцом-то стариком при моем покойнике хлеб-соль важивали часто.

А ярыжники-мещане, шатающиеся по базарам с целью, как они называют, объехать кого-нибудь и вздуть, говорили промежду се-

бя, слушая Маслихин рассказ:

– Ну, моли бога, сельский парень, за то, что судьба свалила тебя у Маслихиной телеги, а то бы мы сейчас про твое дело засвидетельствовали, позвали бы сюда столоначальника Петра Сдвиженского (он до таких-то делов больше, чем ворон до крови охотник!), и сейчас бы он явки об твоих словах навел. Была бы тогда у нас твоя лошадь, да, пожалуй что, совсем и с обротью...

Также и из того круга, который на базарной площади соорудили пирятинцы из своих фур подходили к Маслихе задумчивые проезжие чумаки.

– Будь здорова, бабо! – говорили они. – Что, ты все еще на своих ногах по белу свету шастаешь?

– Да вот как видишь, казак! – отвечала Маслиха. – Служат покамест ступаны-то мои, все еще они носят меня на базар для того, чтобы было кому вашу братью, парубков удалых, кашей с салом кормить. Видишь вот: сальца-то какого я для вас припасла, знала, что вы нынче по нашему городу проезд иметь будете, – и при этом торговка разворачивала тря-

пье, прикрывавшее лубочное днище ее укладистой телеги, и показывала хохлам белое, как снег, сало, слоистое, с прянистым духом...

– Ото гарно! – восклицали хором чумаки, лица которых вмиг просветлели при виде этого чудесного сала. – Се то сало, яке у нас у домі ведетця.

– Вот то-то и есть, молодик! Не у одних только у вас в хохлачине жены сало-то делать здоровы. Вот вам теперича, ребята, хлебца (мягкий хлеб, теплый еще!) по ломтику и сальца по ломтику, – опробуйте. Горелки уж сами прихватите.

– М-м! – протяжно мычали хохлы, уписывая лакомство родимой сторонки. – Ты нам, бабо, сала этого продай всю кадушку про дорогу нашу про дальнюю.

– Для вас и припасала, панове! – отвечала Маслиха... А там уж базар посылал к ней других людей с другою лаской.

– Бабушка! – вскрикивал маленький белокрысый мальчишка, улучив минутку, чтобы выбежать из темной и вонючей лавки на кипящий разнообразным народом торг. – Хозяин у тебя, бабушка, велел попросить пятаков на



грош разменять. И монету самую прислал.

Сказавши такую штуку, мальчишка заливается звонким смехом, воображая, что он окончательно уничтожил старуху своею остротой.

– Спасибо, милый мальчик, за добрую шутку, – отвечала Маслиха. – Я на тебя, золотенький, отцу при свиданье пожалуюсь за то, что ты над слепую старухой насмехаешься, – он тебя за шутку-то эту, пожалуй, березового кашкой попотчует; а сама я, чтобы ты впредь над старыми людьми не потешался, вот тебе жертвую грушку на закуску. Знаю я, в лавке-то скучно; а то, может, кваску не хочешь ли или зернышек подсолнечных.

Мальчишка, видимо сраженный, рысью направляется обратно в лавку вместе с своей шуткой, подслушанной у взрослых; но старуха догоняет его и насильно сыплет ему, покрасневшему от стыда, целую горсть подсолнечных семян.

«Чудаки эти ребятишки, – улыбаясь, говорит про себя Маслиха. – Прибей их за баловство, так они назло тебе другую штуку какую-нибудь самую хитрую выкинут; ну, а

ежели за это же самое баловство приласкаешь их как-нибудь умненько, так они краснеть примутся, стыдиться... Примечала я и над своими и над чужими ребятенками, что лаской-то с ними лучше обходиться – послушнее они тогда делаются...»

Но главным образом около Маслихи любители хороводиться базарными ранними утрами голодные семинаристы, или, как их звали в городе, кутейнички. Сорок с лишком лет каждый день аккуратно выезжая на рынок с своей нагруженной тележкой, Маслиха перезнала маленькими ребятишками-учениками все духовенство уезда, ребятишками неимоверно голодными, часто, следовательно, по этому случаю воруящими, просящими в долг до приезда из родительского дома или даже просящими просто за так, Христа ради...

– Мученики – эти ребятишки духовные, – говорила про них старая торговка с напрасно сдерживаемыми слезами. – Истинно мученики. Нет во всем городе мастерства труднее ихнего, и пищи и житьишка тоже хуже ихнего: что у них всякой дурной твари водится в одежде, в голове – страсть! Потому отцы их бедны,

а начальство строго, аки звери лесные, опять же и взятку любят, как кот мясо. Принесет так-то кто-нибудь из нашей братии мещан небольшому их, шпехтором прозывается, кизлярки пол-штоф, так он к этому подхалюзе-мещанишке человек тридцать их в одну избу, словно птиц в клетку, и напихает... И заводится от этого и в избе и промежду жильцами малолетними всякий смрад и всякая боль, потому известно, какие у нашего брата избы. Одной хозяйке, ежели она мало-мальски тело имеет, повернуться перед печью нельзя... И тут-то она их, этих несчастных кутейничков, лает, что они мешают ей длинными рогами в печке орудовать, тут-то лает, – не приведи мать божия лютому врагу моему такую брань лютую вынести...

А они, эти кутейнички, шершавые, в синих, из домашнего толстого сукна халатах, угреватые, босые, в золотушных и чесоточных струпьях все, тут-то вопиют к Маслихе, окруживши ее изможденною, голодающею стаей.

– Бабушка! Дай хлеба в долг, тятенька письмо пишет, что скоро приедет, так отдаст тогда все сполна, – пристают пуще всех истер-

занные дьячковские дети. – Смерть, бабушка, есть хочется, хлеб у нас на исходе теперь, так старшой запер его к себе в сундук, а нам не дает...

– Нет ли у тебя, бабенка, лекарица какого-нибудь, – говорит шаловливый хорошенький мальчик, попов сын. – Глянь-ка, милая бабенка, как исполосовали меня. Вся, говорят, спина-то в синих кровяных рубцах...

– Отойди-ка ты, золотой, вон туда, между лавок. Пожди меня там, все это я огляжу у тебя и намажу снадобьем таким. Так-то, другой, помню я, и тятеньку твоего парывали. Помню я, баловался он очень, и ты, должно быть, такой же баловник, в отца уродился.

– Я, бабушка, ей-богу, ничего... Он это из ненависти – учитель-то. Он говорит: «У твоего отца пчел много, отчего он мне меду не везет? Я, говорит, тебя проберу...»

Грозно привставала тогда Маслиха с своего дощатого сиденья, устроенного перед ее тележкой, в одну сплошную дугу сморщивала свои густые брови и, посадивши на свое торговое место маленькую внучку, принималась шагать прямо к духовному училищу, что кра-

совалось на Большой Московской улице золотой вывеской и семью старинно узорчатыми окнами. Адский гам, всегда царивший в этом доме от кипения трехсот молоденьких, всеми возможными обстоятельствами направляемых на всегдашний крик и буйство жизни, немного утихал, как скоро некоторые кудлатые головы, созерцавшие из окон однообразное течение уездно-городского дня, примечали, что течет Маслиха, и течет не куда-либо, а в училище.

– Тс-с, ребята! – принимались выкрикивать тогда эти головы, бегая по коридору и классам. – Тише! Маслиха к нам приближается, грядет, аки тать ночной. Вот она распечет теперь живодеров, – достанется всем сестрам по серьгам...

И точно: Маслиха, как бы туча какая, прямо приближалась к смотрительской квартире, находившейся на училищном дворе. Подошедши к двери, она обыкновенно громко сморкалась, подавая тем как бы некоторый трубный сигнал, извещающий, что, дескать, иду на вас...

– Гляньте, гляньте, ребята! – сдержанным

шепотом шипели оборванцы, украдкой выглядывая на старуху. – Уж сморкается. Вишь, как громко сморкается, значит, сердита; значит, она им потачки не даст... Чудеса! Как это она их не боится! А? Простая мещанка, старуха, – не боится? Ведь они все чины получили, и она их ругательски ругает... При тятеньке однажды случилось, как самого зрителя позорила.

– Варвар! Тиран! – начинала Маслиха отделять зрителя, сердито вваливаясь в его залик. – Что у тебя твои палачи с маленькими ребятишками делают? А? Скажи-ка ты мне: можно разве спины-то им прутьями, словно полюшко, вспахивать? Кровопийцы! Велит тебе разве так поступать царский закон?

– Не твое дело, бабушка, не твое дело! Что ты не в свои дела суешься?

– Нет, в свои! – настаивала Маслиха. – Нет, мое дело за невинное дитя заступиться. Я тебе это сейчас доподлинно покажу, что мои это дела. Позови-ка сюда Фалалея Славореченского, какой второклассников учит, сейчас ты мне сюда предоставь его, носастую шельму, я ему песенку пропою; а то он за ребячьими

слезами давно небойся песен-то не слышал...

– Давно у тебя, носарь ты проклятый, стру-  
пья-то на спине зажили? – спрашивала ба-  
бушка у Фалалея Славореченского, который  
неизбежно представлял пред ней, как лист пе-  
ред травой. – Али, может, еще и не зажили?  
Ты вспомни, сколь они сладки, струпья-то  
эти! Вот тебе, Фалалей Ильич, мое последнее  
слово: уймись! Ежели не уймешься, убей мою  
душу господь бог, ежели я соврु тебе! Знаю я,  
куда ты темною ночью шастаешь, через ка-  
кие плетни ты, длинноногий, перешагива-  
ешь... Стыдись, дура набитая, что старуха тебе  
такие слова говорит! Так я на свои вдовьи  
деньги Тучковым ребятам полштофа куплю,  
а там уж ты сам знаешь, как Тучки с вашим  
братом, ночным шатальщиком, расправляют-  
ся... Донесут до больницы али нет, одному ба-  
тюшке отцу небесному про то ведомо!.. Грех в  
муках твоих али, может, и в живота лише-  
нии, – так уж и быть! – беру на свою старую  
душу... А не захотят ребята об тебя, об паску-  
ду, рук своих молодецких марать, – продолжа-  
ла Маслиха, все больше возвышая свой гром-  
кий голос, – так я его преосвященства из гу-

бернии дождусь. Как пойдет отец святой в собор, так я сейчас за коленочки его обойму, все их слезами моими оболью и прошение ему на тебя – на аспида... Вот ей-богу же так!..

И надолго затихал после такой бури учитель Фалалей Славореченский; зато по всем этим бесчисленным селам двух уездов не было ни одной принадлежащей духовному лицу избы; где не знали бы про Маслиху и где бы в то же время не были ей должны нескольких грошей за сына, внука, племянника и т. д.

Все, говорю, знали городскую бабу-торговку в этих убогих дьячковских избах, в этих поповских и дьяконских горницах, всеми мерами старающихся походить на более или менее светлые мещанские горницы и никаким манером не походящих на них, – и когда в них раздавался плач семейства о малом ребенке, отправляемом в школу к чужим людям с двугривенным наличного капитала и пудовым мешком ржаной муки, отец и глава этой избы, по опыту знающий, что с двугривенным и мешком муки далеко не уедешь, в числе многоразличных наставлений непременно говорил сыну и такую вещь:



– Ты вот что, сынок! Как приедешь в город, ступай на базар, а на базаре спроси: где, мол, тут бабушка Маслиха? Как только тебе покажут ее, ты ей и скажи: тятенька, мол, мой, бабушка, Августин Преснорыбинский, кланяется вам. Он, мол, ныне, слава богу! в селе Черноречье благополучно дьяконствует. А к Покрову на ярмарку ежели соберется, так должок вам за груши и прочие съестные припасы, кои, мол, забирал он у вас, будучи еще учеником и высшего и низшего отделений, привезет безотменно, а также и гостинец какой-либо, по части естеств сельских, за долгое жданье тож неупустительно предоставит. Так и скажи. Прощай теперь. Вот тебе на дорогу мое родительское благословение...

– А, миленький!.. – восклицала Маслиха, когда молодой Преснорыбинский, благополучно прибывший в город на вороной лошаденке с отцовским работником, рекомендовался ей на рынке. – Так это ты Августинов сынок выходишь? Помню, помню я его, бедного. И-их как наказывали его, учиться был слаб очень, ну и бедность опять родительская... Дьячок был твой дедушка-то упокой-

ник, царство ему небесное! Бедный был, аки бы нищий какой отрепанный в город к детям приезжал. Ну, так говоришь, дьяконствует тятенька твой в Черноречье?

– Дьяконствует, бабушка! – подтверждал мальчик.

– Ну и слава богу! слава в вышних богу!.. – заканчивала Маслиха, крестясь большим крестом светлому жарко палившему небу, под которым происходило ее знакомство с ребенком, с сего часа отныне и навсегда взятым ею под свою вдовью защиту...

*1864*

# Примечания

Печатается по изданию: «Степные очерки», изд. 2-е, кн. 1. М., 1874, с. 292—313. Впервые опубликовано в «Современнике», 1864, No 8 с подзаголовком «Степные нравы». В обоих изданиях «Степных очерков» перепечатывалось без существенной переработки.

[^^^]

*...молитвами Львова и Бортнянского.* – Львов Алексей Федорович (1798—1870) – композитор и скрипач, директор придворной певческой капеллы (до 1861 года), автор многих оригинальных сочинений для церкви. Бортнянский Дмитрий Степанович (1751—1825) – русский композитор, известен как автор хоровой церковной музыки.

[^^^]

# 3

*...в охотники хочу наниматься – то есть в солдаты, вместо того, кто должен идти по рекрутскому набору.*

[^^^]

## 4

*...грозным примером Сарданапала.* – Сарданапал – легендарный ассирийский царь, проводивший жизнь в роскоши и удовольствиях. Его беспечностью воспользовались враги, запершие его во дворце. После двухгодичной осады Сарданапал сжег себя – с женами и сокровищами.

[^^^]